

«Все дети, пока они ещё не покинули тайны, непременно заняты в душе единственно важным предметом: самими собой и таинственной связью между собою и миром вокруг».

(Герман Гессе «Ирис»).

...

Большинство жителей нашей страны знакомы с моим родным городом благодаря ситкому «Наша Раша». Меня иногда нет-нет да подденут, мол, как там трасса «Пенза – Копейск»? Так вот, заявляю авторитетно: трассы «Пенза-Копейск» в природе не существует, но город Копейск – есть, и название его происходит вовсе не от слова «копейка», как пытаются иронизировать иные граждане, а от слова «копи».

В 2013 году он, как и Челябинск, пострадал от метеоритного дождя, а за несколько лет до этого прославился на всю страну историей, достойной лучших традиций Болливуда. Здесь, в роддоме, перепутали двух девочек: младенца русской национальности отдали в семью зажиточных цыган, а цыганку – паре русских, которые потом на

этой почве и развелись. Муж наотрез отказывался признавать в смуглой и черноглазой девочке свою дочь, подозревая жену в неверности. Всё чудесным образом выяснилось, когда обоим подкидышам минуло тринадцать.

Впрочем, такие коллизии сплошь и рядом встречаются не только в индийском кинематографе, но и в сказках про принцесс, когда в жизнь людей вмешиваются феи, духи и прочие персонажи народного фольклора. Мне милее второе, я бы очень хотела знать – с какими дарами собрались к моей кроватке в роддоме №5 лукавые феи, когда у вчерашней выпускницы Горного техникума и грузчика взрывчатых веществ завода «Пластмасса» родилась дочь.

...

Считаю, феи пожадничали и остановились на прожиточном минимуме без прикрас: то есть, тельце моё могло быть посимпатичнее, волосы погуще, рот поменьше, а характер менее «фантазийным». Потом я не знаю, кто из дарительниц постарался – в смысле добрая эта была фея или полная стерва – но к десяти годам меня настигла странная одержимость. К тому времени у меня уже имелся брат-погодок, а мама, технолог шахты «Красная Горнячка», из-за оплошности водителя электропогрузчика лишилась левой ноги выше колена. Она ходила на протезе, с палочкой, и зимой по нашей с Димкой просьбе ловко сбивала ею снег с веток деревьев. Получалось красиво.

С «красотой» была связана и моя страсть под кодовым названием «камушки». Конечно, в первую очередь виной всему была их таинственная и, что не менее важно, мало подвластная времени красота. Они оказались сильнее всего, что нас окружало, и намагнитили мою жизнь до того, чтобы повернуть её не в ту сторону, совсем не в ту – по крайней мере, с точки зрения регламентирующих мир правил рациональности.

Особенно завораживали в детстве полупрозрачные кристаллы: горный хрусталь, аметист, исландский полевой шпат, который, если приложить его к печатной строке,

удваивал изображение. Вся эта нежная слоистость, целые туманные миры, упрятанные внутрь безупречных граней. Бывало, смотришь и не налюбуйешься. Медленно поворачиваешь камень на свету, а игра бликов высвечивает новые подробности путешествия. Именно путешествия, потому что просто смотреть было мало, хотелось стать такой же маленькой, как Карик и Валя из замечательной книжки Яна Ларри, и каким-то образом попасть внутрь той волшебной страны, которая за гранями кристалла начиналась.

А ведь были ещё сеточки рутила – неоспоримое доказательство существования моих крестных фей – запечатленный на века взмах волшебной палочки, когда золотые нити прошивают насквозь кристалл хрусталя и остаются в нём застывшим взрывом.

Что там мультики! Они сильно проигрывали, хотя если бы изображение телевизора в моём детстве было цветным, а не черно-белым... К тому же довольно часто, когда наш буйный отец возвращался с работы пьяным, мультики нам с братом были заказаны. Из-за спиртного отец уже не мог быть грузчиком взрывчатых веществ, он спустился в забой, под землю... Странно, при том, что я доставала «камушки» любыми доступными способами и облазила в окрестностях все мало-мальски приличные ямы, мне и в голову не приходило попросить отца принести что-нибудь из «настоящей шахты». Несомненно, то были бы дары Аида, ядовитые, уже отравленные, не имеющие права находиться среди того, что мне по-настоящему дорого.

Так возник в моей жизни чёрный негатив, подземное царство, тёмный углекоп. Думаю, произошло это постепенно, по мере погружения отца – так и хочется написать в «недра» – болезни, потому что мама считала его именно что больным, а больных на произвол судьбы не бросают.

...

Отдыхать он с нами ездил только один раз. Маме, как «травмированной на производстве», дали бесплатную

путёвку в Дом отдыха на берегу озера Увильды. Честно говоря, в стандартном номере с фотографией стандартных озёрных красот на стене смотрелся отец не очень. И скуку пресного санаторного режима разбавлял, требуя у матери каждое утро «рупь на опохмелку».

Однажды после такого представления мы с мамой взяли в прокате лодку и вдвоём поплыли на острова. В прошлом она была спортсменкой-лыжницей, гордостью своего техникума, и даже – предмет моей зависти – путешествовала с друзьями на велосипедах по Кавказу.

Я страстно мечтала о путешествиях, где, конечно, можно добыть ещё более удивительные, чем здесь «камушки». Пределом моих мечтаний в ту пору являлся остров Шри-Ланка. Там в шахтах добывали не скучный бурый уголь, как у нас, а божественную шпинель – разноцветную и прозрачную. Именно так в моём воображении переливались «яхонты», «самоцветы» и сказочные сокровища из пиратских сундуков.

Мама гребла. Мы подплыли к острову, который представлял собой скалистый останец, заросший лесом, вытащили лодку на песчаную отмель и двинулись вглубь. Мама уже обходилась без палочки и ловко лавировала на протезе между упавшими стволами, поросшими мхом, которые только сохраняли видимость объёма и при первом прикосновении обрушивались трухой в ажурные, высокие папоротники. «Осторожно, в таких стволах могут быть осиные гнёзда», – предупредила мама.

Так всё и осталось в памяти: необитаемый остров, мама впереди, как Джон Сильвер на деревяшке, зеленый зной, струящийся сквозь лиственную завесу, пергаментные гнёзда ос, остроконечная красная земляника и – несомненный дар духов этого места – на отмели, чуть правее лодки, видимо вымытые из основных пород, слагающих остров – «камушки». Причём редкие: гранаты, вкрапленные блестящими веснушками в куски гранитной породы, и агаты. Точнее то, что ими становится, если мало чем приметный «бу-

лыжник» распилить на специальном станке. О, восторг подобной находки! Мне казалось, что микроскопические мои гранаты горели так же свежо и остро, как ягоды земляники на фоне зелёного сумрака.

Но такие подарки судьбы случались не слишком часто. Обычно приходилось довольствоваться тем, что можно было найти в ближайших окрестностях городка. А они, на мой вкус, отличались изрядной убогостью. Уральские горы сходили здесь на нет и в унылой местности, помеченной террикониками, чувствовалась болотная равнинность. Бесконечные болота мезозоя, давшие жизнь небогатым угольным залежам не самого высокого качества. То же, что и с дарами моих фей: серединка на половинку. В аккурат по присказке: «Уголёк да глина – не праздничный харч».

Но кое-что интересное всё-таки нам попадалось. Если внимательно смотреть под ноги, то уже во дворах центральных улиц можно было найти невзрачные на первый взгляд сколы сланца, где свой ажурный след оставили растения древних болот. Тонкий угольный рисунок, а если совсем повезёт – отпечаток неведомого панциря или «лингит» – окаменевшее дерево, тысячелетние кольца которого подернуты плёночкой минерала, похожего на пирит – «кошачье золото». Всё потому, что бурый уголь, которому наш городок обязан своим существованием, среди углей планеты считается самым «молодым». Он не долежал под землёй до чемпионского блеска и однородности каменного кокса. И в нём – нет-нет да проскакивают формы промежуточные, где наглядно запечатлён процесс превращения растительной массы в минеральные залежи. Хотя такой «недоуголь» куда больше радости приносил воображению ребёнка, *перекидывая мостик между «живым» и «неживым»* (а точнее тем, что под этим понимается).

Чего только мы не находили, пока возились в сарайках на угольных кучах. Легко шелушился тонкими листами «бумажный» уголь «дизодил» или рассыпался землей под пальцами уголь войлочный, похожий на торф, и совсем

удивлял кусочек древесной золы, наглухо зажатый в тиски светлой породы. Какой урок получаешь, когда видишь: то, что принято считать камнем – когда-то росло и зеленело, пусть и в неведомых лесах на мезозойских болотах? Алмаз – родственник графиту и углю, а значит тем самым растениям, которые когда-то в уголь превратились, то есть, в каком-то смысле бессмертие материи существует. И всё со всем связано.

Вероятно, в следствии таких выводов, сделанных интуитивно, и появилось у меня убеждение, что похороненной нужно быть только в земле: листочки там, травка, свирель из тростника, поющая голосом убиенного пастушка, мои атомы и молекулы, которые снова распылятся по миру, и которые обеспечивают мне с этим самым миром абсолютное родство за счёт «первичных» кирпичиков – химических элементов. Смешные представления о мироздании маленького язычника-дарвиниста.

...

Географию окружающего мира для меня тоже определяла страсть к «камушкам», центром притяжения становились места, где ими можно было пожить. Например, уже заброшенные на тот момент угольные карьеры (поначалу часть угля добывали в наших краях открытым способом). Или терриконики, куда годами свозился шлак – отработанная при добыче угля порода. Эти розоватые горы напоминали издалека древние курганы, они постоянно тлели внутри и под воздействием особенных условий там появлялись на свет особенные минералы. Оседали, например, на кусочках шлака прозрачные соли.

Заповедные территории, как и положено, начинались на краю Старого города, застроенного по преимуществу «своими» домами и насыпными бараками ещё военного времени. Нам, выросшим в Центре, в новеньких кирпичных домах, они уже казались экзотикой.

В Старом городе обитала вся папина родня и – настоящая ведьма – моя бабушка, папина приёмная мать.

Пещера Гингема, я думаю, выглядела так же и так же отвратительно пахла. Запах нечистот и затхлости в её норе клубился настолько густой, что все остальные тела и предметы, попадавшие в его поле, теряли собственный аромат. В довершение картины старуха постоянно нюхала табак и таскала за собой испачканные коричневым тряпки для сморкания. Она отменно материлась, легко могла отрубить крысе голову печным совком и мылась раз в месяц.

Моя мама откровенно считала её ведьмой, и однажды я подслушала, как она рассказывала подруге, что именно старуха, недовольная партией сына, вслух прокляла невестку, а через неделю среди бела дня мама увидела летучую мышь, которая повисла на кухонной форточке, а ещё через неделю – попала под электропогрузчик.

Видимо, склонность к примитивному сказочному мышлению, где чёрное и белое чаще всего по отдельности – и редко переплетаются между собой, досталась мне от матери. А может быть, это следствие резко контрастного фона моего детства. Мне всегда казалось, что странным образом тёмные силы – отец и его приёмная родня – взяли в плен силы светлые – мою маму. Она, конечно, совершенно замечательная и необыкновенная, но почему-то не хочет спастись сама и спасти нас, не хочет сбежать из тёмного королевства. Нелогичностью своих поступков мама напоминала мне Русалочку Андерсена. А ещё тем, что культя её в протезе, замотанная в марлевые прокладки, часто кровоточила, так же, как ноги Русалочки, в которые превратился рыбий хвост, и так же, как Русалочка, мама никогда не жаловалась на свою боль и обиды.

...

Впрочем, и в колоду тёмного королевства случайно затесался один светлый персонаж, муж бабки – деда Саша. Человек тихий и незлобивый, он умер, когда мне не было и трёх лет. Говорят, именно он настоял взять из приюта маленького Валерку, когда выяснилось, что после всех ошибок молодости его супруга иметь детей уже не сможет.

Всё, что осталось от деда Саши в памяти – лучащийся светом силуэт в углу дивана. Не мужчина – тихая улыбка мироздания, «облако в штанах».

Он один из всей родни одобрил невесту сына и, трудясь электриком, содержал на протяжении жизни мою взбалмошную бабу, которая «работяг» не любила, да и сама никогда толком не работала, а только «подрабатывала» время от времени, то сиделкой, то уборщицей, то разгрузкой лотков с булочками в магазине «Хлеб», где после сплетничала от души с продавщицами в белых кокошниках. Вот ведь удивительные, если вдуматься, головные уборы. Высокие, накрахмаленные, а то и на жёстком каркасе из фольги, которая поблёскивала празднично сквозь выбитые по белому полотну узоры. Ни дать, ни взять, прямые родственницы детских новогодних корон – тех, что по ночам наши мамы обсыпали «серебром» и «золотом» толчёных ёлочных игрушек, чтобы хоть на один детсадовский утренник превратить своих дочурок в инфант.

Но если с детскими коронами всё более или менее ясно, то приверженность к кокошникам советских продавщиц и работниц общепита до сих пор остается для меня загадкой. Думается, дело не только в нормах, предписанных СНИПами и ГОСТами – тут что-то от желания приобщиться к державной гордости Снежной королевы, к могуществу Хозяйки Медной горы – ведь головы этих достойных дам тоже были увенчаны далеко нетривиальными уборами.

Моя тороватая бабушка от кокошников млела и в продавщицах чувствовала родственные души. Она и сама иногда приторговывала с самодельного лотка на автовокзале – войлочной вишней-китайкой, зеленью и падалицей груш из сада сестры. Понятно, что для своего Валерки, пока моя мама не спутала ей все карты, старуха мечтала как раз о Самодержице из сферы услуг или торговли, «дерёвню» и «крестьян» бабушка не выносила ещё больше, чем «работяг».

Мне же её товарки из магазинов виделись несколько иначе. К священной области «камушков» они не относились, а значит, интереса не представляли. Хотя фотография одной из них – Зинаиды Николаевны, директора магазина «Хлеб», сделанная в лучшем городском фотоателье и вычурно подписанная бабке на память, позже мне пригодилась. Она послужила источником вдохновения для создания портрета злой волшебницы Бастинды.

Старушку я лично не знала, о нраве её сказать ничего не могу, и, скорее всего, дело было в калошах и зонтике, которые неожиданно дополняли парадный костюм директорши. То есть, на первый взгляд всё, казалось бы, правильно: перманент, оскал вставной челюсти, бусы чешского стекла на черепашьей шее, юбка по икры, на ногах кокетливые носочки и... резиновые калоши, не те, конечно, что надевают в слякоть на валенки, поизящнее, но всё же. Да ещё в руках – сумочка-ридикюль и зонтик. Бастинда, как известно, больше всего на свете боялась воды и никогда не умывалась. На картинках в любимой книжке «Волшебник Изумрудного города» она как раз фигурировала с зонтом. В моей версии к зонту прибавились очки – перекочевали в рисунок прямоком с носа Зинаиды Николаевны. Бусы чешского стекла я для своей Бастинды пожалела. Волшебный предмет, обладающий светлой аурой, ведьме не полагался. В моём детском восприятии безупречные грани прозрачных бусин, подёрнутые радужной пленкой, лучились так же сильно и благостно, как силуэт деда Саши на диване, а светлое и тёмное смешиваться не должны, хватит мне истории папы с мамой – в общем, Бастинде фигушки.

...

Но как бы прекрасны не были бусы, восторга, потрясающего душу до самого дна, они не вызывали. Мешало слово «искусственные». Стекло сделано человеком, загадки в нём нет, рецепт известен – значит оно не волшебное и гораздо менее ценное. Камни – те настоящие – как цветы, в

их красоте есть тайна, для разгадки которой хороши самые разные способы.

Я, например, отправилась в библиотеку, набрала там литературы про «камушки», и когда наткнулась на книги академика Ферсмана, принялась взахлёб читать их, позабыв романы Фенимора Купера. Мечтала о «настоящих» экспедициях и загадочных «квасцах», из которых можно вырастить удивительные кристаллы. Выпросила у мамы набор «Юный химик». Я хотела понять – как? Опускала ниточки в соляной раствор, в раствор сахара и перенасыщенный раствор медного купороса. И чудо всякий раз приходило!

Хотелось плакать от того, как блестели гранями только зародившиеся кристаллы купороса, ядовито-яркие даже для глаз. Как они с каждым днём становились крупнее, копируя поведение виноградной грозди. Камни росли! Вели себя как цветы, но в отличие от цветов нюхать их не рекомендовалось, брать в руки тоже, не говоря уже о том, чтобы лизнуть языком. Они были другой породы, с трудом переносили воздух, быстро окислялись, их чудо казалось, пожалуй, слишком хрупким, и могло жить только в банке с раствором или под стеклянным колпаком.

Так был получен ещё один важный урок, в то время до конца не расшифрованный: а что если рождение камня должно быть скрыто от человека? И не стоит пытаться извлечь на свет то, что всячески этому сопротивляется? Я чувствовала, хотя и не могла чётко сформулировать, что немножко презираю своё сверкающее неестественным ультрамарином чудо – собственноручно выращенные кристаллы купороса. Естественный камень – настоящий – не мог иметь такого кричащего цвета, и он должен был быть вечным – камень. Его красота должна жить долго-долго, как сама планета Земля, всегда. Это бессмертие и составляет, если вдуматься, существенную часть того обаяния, которое тревожит и служит контрастной парой обидной «пустяко-

ности» нашего городка, кособоко случайного на поверхности истории.

...

Впрочем, у Копейска имелась своя тайна, говорить о которой открыто стали уже только после «перестройки». А в пору моего детства была принята официальная версия – город наш появился на свет вовсе не по недосмотру судьбы, а после революции, когда шахтёры поселка Копи отличились в борьбе с белогвардейским адмиралом Колчаком и населённому пункту пожаловали Орден боевого Красного знамени. В этом призван был убедить жителей и гостей Копейска памятник на въезде в город – парная композиция того самого ордена и отбойного молотка.

Нечто подобное можно было поставить и на могиле моего деда Фёдора, маминого отца. Вот только Орден боевого Красного знамени пришлось бы заменить на Орден знамени тоже Красного, но Трудового. Как ни странно, но и о нём я узнала уже, будучи взрослой. Мама достала дедову награду из скромной серенькой коробки, которую хранила вместе с бабушкиной медалью «За подвиг материнства», и справкой о том, что семья деда реабилитирована, а все её выжившие члены признаны «потерпевшими» от государства.

Не знаю, почему разговор на эту тему никогда не заходил до начала девяностых. Ни тихонько, шёпотом, между собой, ни в те моменты, когда языки развязываются во время больших застолий. Даже намек не просачивались до внимательного детского слуха. Вопросы будто не существовало. А ведь мамина семья была скорее правилом, чем исключением. Тайна, охраняемая молчаливым заговором взрослых, состояла в том, что костяк населения нашего городка, да и соседнего Коркино, где находился самый большой в области угольный карьер, составляли сосланные и репрессированные.

Судя по фамилиям моих соседей и одноклассников, особенно «повезло» немцам из Казахстана и таким, как

мамина семья – раскулаченным крестьянам из окрестных станичных юртов, признанных кулаками.

«А какие кулаки? – удивлялась мама, – просто у деда Семёна было пятеро сыновей, все работающие. Даже наёмных работников никогда не держали, всё сами делали. Ну – дом двухэтажный, так только первый этаж каменный, второй деревянный, лошади, коровы, мельница. Они из казаков происходили».

В детстве мы с братом Димкой и не догадывались, что пыльная и скучная деревня Калачёвка, неподалёку от копейских шахт, где доживали свой век на пенсии мамины родители, и куда нас время от времени отправляли летом – тоже была казачьим поселением и появилась на свет гораздо раньше города, аж в XVIII веке. Калачёвский «выселок» основал «Радион Филлипов сын Калачев из деревни Родниковой Соли Камской провинции родом». Фраза, конечно, звучала красиво, но в самой Калачёвке, насколько я помню, «красоты» мучительно не хватало. Здесь не сохранилось ни одного интересного строения, ни церковки, ни флигеля. Сейчас-то до меня дошло, что жили там вообще на редкость бедно – даже двухэтажных домов я не припомню. Окрестные же леса частично повывели, некогда полноводная река Чумляк обмелела. Географически здесь уже чувствовалось недалёкое присутствие Башкирии, а «исторически», если так можно выразиться, присутствие других, не горно-рудных цивилизаций. Чем старше я становилась, тем скуднее год от года казались мне знакомые сызмальства пейзажи, я будто вырастала из них, как из детских шорт или юбочок. Мама же Калачёвку любила, здесь прошла большая часть её детства.

В 50 лет, выйдя на пенсию, дед Фёдор с женой и четырьмя выжившими детьми сразу перебрался из города в деревню, подальше от шахт, поближе к родственникам и к земле. «Он даже весны дожидаться не стал, – рассказывала мама, – в Калачёвку мы приехали под осень, вырыли землянку, чистенькую такую, уютную. В ней и перезимовали,

а весной, как стало тепло, начали нормальный дом строить. Строили всей деревней, всегда так делали. В одиночку никто бы не выжил».

...

И вот ещё что любопытно: пока не умерли мамыны бабушка с дедом, я и не думала о «камушках», у меня были другие сокровища – круглая жестяная коробка из-под конфет, пилотка со звездой, в леске за огородом изящные, как в мультфильмах, фиолетовые колокольчики с узкими лепестками и голубоглазые незабудки. Даже вечный отцовский алкоголь здесь преобразался в бордовую домашнюю настойку, которая поблескивала благородно в графине, увенчанном тяжёлой гранёной пробкой.

А как-то раз – дар одного щедрого лета – из дальнего бора принесли три ведра лесной клубники, пахучую горю вывалили на газеты прямо посреди главной комнатки и долго с удовольствием перебирали всем наличным составом. Порхали по домику запахи леса, радостно кувыркались в картофельной ботве на огороде мои крёстные феи, сталкивая с листьев противных колорадских жуков, молча улыбались, оседлав облачка, ангелы. Тот период вообще вспоминается как герметично-замкнутый «рай» – флакон такой с пленённым духом счастья – самыми светлыми воспоминаниями детства. Интересно, что зачастую они совсем лишены слов. Там все молчат и тихо улыбаются.

Тихо улыбается бабушка Анна – мамина мама. Перед сном («отбой») у них с дедом всегда наступал в 9 часов вечера) она сидит в длинной ночной рубаше у белёной печной стены и заплетает на ночь волосы в косу. Рядом на табуретке – очки и «Роман-газета», страница, где прервано чтение, загнута уголком. Днём бабушка ходит в платье из тёмного штапеля или ситца – от многолетних стирок материя стала мягкой и нежной на ощупь как кожа младенца. Я не помню бабушку Анну в праздничной одежде. Поверх скромного платья на ней всегда рабочий фартук.

Молчит и улыбается, прищурившись, дедушка Фёдор (кепка, опрятная, но ветхая рубашка, пиджак, кирзовые сапоги). Днём он редко в доме, чаще возится во дворе и «на огороде», около огромного стога сена или поленницы. В Калачёвке даже печку топили не углём, а дровами. Думаю, деду было особенно приятно – хоть на старости лет не касаться «чёрного камня», который однажды его вынудили добывать насильно.

Единственная компенсация, которую мама и её братья в конце девяностых получили от государства как «реабилитированные» – бесплатная и внеочередная установка домашних телефонов. Среднему брату, дяде Гене, последнее «прости» от властей оказалось без надобности. Как крупный заводской начальник, телефон он имел давно.

Аппарат цвета слоновой кости стоял на полочке в просторном коридоре их роскошной (по копейским меркам) четырёхкомнатной квартиры. Мне особенно нравилось, что в ней есть настоящая кладовая и застеклённая веранда со скрипучими половицами. Пусть и выходили «апартаменты» окнами на карьер, зато под окнами цвёл свой собственный палисадник. И переулок назывался красиво – «Клубный». За ним начинался цыганский посёлок. Шпана и дети из «хороших семей» росли, по сути, в одном дворе, ну, или в соседних, чем и объяснялась впоследствии крепкая связь между городской администрацией и криминалитетом.

...

Дедушка Фёдор умер семидесяти пяти лет в больнице, от сердца. Бабушка Анна, ненадолго пережив его, тихо скончалась в Копейске, в нашей с братом комнате, куда её забрала перед смертью из деревни мама. Я потом спала на этой кровати, Димка почему-то боялся, а я нет, я слышала последний, длинный и лёгкий бабушкин вздох – ничего тёмного там быть не могло. Только кроткое, ангельское, светлое, такое же, как лучезарное облако деды Саши или сияние чешских бус.

Чертенята появились позже, с «камушками». Недаром говорят, что именно «калёным угольем» они «играют в кремешки». Через «камушки» – «красивое», «опасное» и «запретное» – совпали для меня в первый раз. Произошло это в заброшенных карьерах за городом, которые стали для нас, детей, настоящим Марсом, другой, опасной планетой. Карьеры ещё называли «разрезами», но раны земли здесь постепенно затягивались, являя божьему миру причудливые ландшафты, простирающиеся на несколько километров. Там было, где прятаться беглым уголовникам, и только отпетая шпана отваживалась купаться в изумрудной воде затопленных котлованов. По откосам ещё дымились не выбранные до конца прожилки угольных пластов, прогорев, они обрушивались не наружу, а внутрь самих себя, продолжая тлеть, уже в глубине чёрных дыр. Скрываясь от взрослых, мы ходили в карьеры за «камушками».

Здесь моё понимание жизни обогатилось еще одним опытом: если хочешь пережить беспримесное, кристальное ощущение чуда, когда наудачу начнешь ковырять землю, и комок грязи под дрожащими от возбуждения пальцами окажется вдруг самым совершенством – *друзой* – мутноватой «розочкой» кристаллов – настоящим каменным цветком – нужно пойти туда, где опасно, где кончаются асфальтовые дорожки, и нет послушных девочек в белых гольфах...

Стоп! Вот тут, наверняка, хихикает, наблюдая за мной свысока, одна из фей-дарительниц, та, про которую не поймешь – добрая она или стерва, потому что здесь – ну совершенно точно – следовало бы остановиться, полюбить что-то другое, то, что можно прибрать к рукам менее болезненно. Например, куклу или машинку. Потому что *красоту камня* нельзя присвоить, даже если запрёшь его в свою коллекцию, или научишься вставлять в самые изысканные украшения. В красоте камня всегда остаётся что-то такое, что тревожит душу, томит душу, куда-то зовёт ее. Здесь начинается путь Данилы-мастера, которому «красо-

та» и попытка до конца овладеть её законами, жизнь совсем не облегчили. Если красота от Бога, то какого именно? Как она во всей полноте открывается человеку? Есть ли другой путь приобщения к ней, а не тот, которым продирался пытливый крепостной под насмешливым взглядом Хозяйки?

«Малахитница» она ведь не «девка вовсе», а «тайная сила», языческая царица Духов, родственница Прозерпины, пра-пра-внучка могучего и тёмного Аида, из подземного царства которого вечно злым после смены выползал на свет божий мой отец, только затем, чтобы крепко выпить с друзьями-собутыльниками. И принести домой душевную смуту, тёмную неясную тоску, из-за которой мама совершенно справедливо считала его тяжелобольным и жалела. «Дрова пылают, уголь шает, а человек нутром горит».

Не исключено, что «камушки» как болотные огни завлекали меня на зыбкую тропинку, ведущую в Царство духов. Интересно, что во многих легендах ближе всех к нему стоят именно угольщики.

Каким знакомым показалось мне уже в зрелом возрасте описание долгого, мучительного любования ирисом в одной из сказок Германа Гессе! Страстное стремление – следуя взглядом за совершенными изгибами стебля, цветка, бутона – проникнуть ещё дальше, ещё глубже – за предел материи, туда, чему материя служит лишь преддверием. Герой этой сказки попал, в конце концов, в Царство духов, точь-в-точь как мечтал в раннем детстве, рассматривая ирис – по светлой дороге, прошитой стеклянистыми жилками, между рядами тычинок, превратившихся в золотые колонны.

Вот она – сладостная радость узнавания, пароль и ответ, встреча двух резидентов одной разведки: герой Гессе исполнил свою (и мою) детскую мечту – нашёл дверь в волшебную страну. Пусть у него – чашечка цветка, у меня – кристалл, но и то, и другое были когда-то для каждого из

нас тайной – «тихим вопросом», навстречу которому с небывалой жадной познания устремлялась душа.

...

В конце концов, не так важно, *что* становится маячком, разбудившим способность и потребность *вдумчивого* любования и совсем не праздное – *другое* – глубокое любопытство к миру, которое, даже будучи не осознанно полностью, на всю жизнь намагничивает путь твоих странных, сумбурных, совершенно нелогичных для окружающих поисков. А, может, так впервые даёт о себе знать судьба – рок – предопределение. Могло ли что-нибудь, кроме «камушков» стать моей первой страстью, своеобразным символом «дороги и врат»? Например, доисторические монеты или черепки?

Ведь именно археологическим открытиям предстояло прославить наш край лет через двадцать, после того как я в коробке из-под конфет устроила свою первую минералогическую коллекцию. Совсем скоро должны были откопать мистический город Аркаим, куда теперь съезжаются рожать духовно продвинутые женщины со всей страны.

В окрестностях нашего городка или той же Калачёвки археологи вели раскопки задолго до моего рождения. В округе часто находили грузила, кремневые скребки, бусы. Люди жили здесь, начиная с каменного века. Ловили рыбу, делали бронзовый инструмент, мужчин и коней хоронили рядышком, бок о бок. Сейчас на просторах интернета один самодеятельный историк-патриот смело причисляет к «древним копейчанам» галлов, савроматов и сарматов. Причём, на этом не останавливается и бодро идет дальше во времена матриархата и возможного вмешательства в жизнь землян инопланетных цивилизаций. В качестве доказательства почтеннейшей публике предъявляется каменный голыш, который в 1983 году случайно скovyрнул ковшом экскаваторщик Голощাপов. Учёные до сих пор не пришли к единому мнению, что представляет из себя случайная находка – голову марсианина или голову андро-

гинного божка тех времен, когда матриархат вот-вот должен был смениться патриархатом.

Но всё это прошло мимо меня, абсолютно не задев. Может быть потому, что ничего такого я ни разу не нашла самостоятельно? А может, невзрачный черепок не выдерживал никакого сравнения с тайной камня? Или духи ловят нас по-своему, каждого на свой манок? Или было в обглоданных временем железках и керамике что-то, оттеняющее общую скудность окружающего, его неисправимую вычерпанность? Дело даже не в том, что советское детство 1970-х на нынешний вкус – унылое однообразие форм, которые редко менялись. Было какое-то другое ощущение скудности, будто всю амброзию давно выпили, а нам оставили порожнюю тару, и всех дел – сбегать до ларька, сдать бутылки, обменять их на светлую мелочь своих жизней.

Хотя с каким ностальгическим удовольствием вспоминаю я сейчас, например, стеклянные ёмкости из-под молока (крышечка белой фольги), кефира (зеленая крышечка), ряженки (самая красивая розовая фольга). Летом мама каждое утро складывала их в авоську и отправляла меня в магазин – или просто сдать тару или обменять её на другую, полную. Солнце дробилось на блики в промытом бутылочном стекле, и зайчики-отражения скакали около моих сандалий на щербатом асфальте. Те молочные бутылки сияют сквозь время так же светло и волшебно, как бусы чешского стекла и тихие улыбки дедушек Саши и Фёдора, бабушки Ани.

...

Не знаю, как другим детям, но мне всегда хотелось окружающий мир немножко подправить: расцветить, усложнить, наделить ещё одним подземным ходом или дополнительной «красотой». Подспудно во мне жило ощущение «общей вычерпанности», а «камушки» и всё, связанное с ними, этому чувству противостояли.

Я помню каждый, даже совершенно случайный, дар. Например, самое начало моей коллекции – буквально

«первый камень», настоящую тяжеленькую драгоценность: серый с блестящей кусочек породы, в поверхность которого узким гребешком были вкраплены кварц и пирит. Такого в наших окрестностях сроду не водилось, не знаю, как затесалась это чудо в идеальный сервант ещё одного моего дяди, между хрупкими чашками чайного сервиза и фарфоровой статуэткой.

У дяди Толи, Анатолия Фёдоровича, старшего мамино брата, мастера завода «Пластмасса», в чистенькой и уютной двушке-«хрущёвке» лишние предметы не приветствовались. Его жена, тётя Маруся, отличалась строгостью и аккуратностью: ни одного туманного пятнышка на полированной поверхности раздвижного стола. Только по осени в хрустальной тяжёлой вазе, как заряженные ружья нового учебного года – гладиолусы.

Тётя Маруся родила дяде Толе двух детей: мальчика Юру, похожего на Гагарина, и девочку Люду – счастливый стандарт 70-х. Люда умерла от рака, не дожив до сорока. Позже, когда в пятьдесят с лишним умер дядя Гена (скоропостижный рак лёгких), и по нелепой случайности младший мамин брат – дядя Саша, а мама ходила за больными уже тётя Марусей и дядей Толей, потому что их сын, похожий на космонавта, жил непоправимо далеко, я задумалась о том, что бывают на свете и более лёгкие судьбы.

Что за злой рок преследовал маму и её братьев, выводок деда Фёдора? Этих работающих, внутренне глубоко здоровых и порядочных людей? Так и поверишь в проклятие до седьмого колена. Они жили трудолюбиво и просто, как предписывали чёрно-белые фильмы их советской молодости. И даже внешне представляли тот симпатичный, с белозубой улыбкой типаж, олицетворяющий идеального «советского человека».

Дядя Толя, судя по фотографиям, и вовсе походил в молодости на плакатный лик пионера-героя Лени Голикова. Хотя картины, которые дядя Толя всё в той же молодости

сти рисовал, и которые потом украшали стены комнатки бабушки и деда, даже следа советской символики не несли.

Обычно он писал маслом на небольших фанерках, иногда на клеёнках – и тогда работы получались большие – в полстены. Изображал дядя Толя в различных вариациях одно и то же, своё понимание «красоты»: розы, голубей и длинноволосых меланхолических девушек в пастельных одеждах над печальными прудами.

Сейчас я понимаю, что девушки на его картинах сильно напоминали русалок-утопленниц Крамского, когда тот иллюстрировал «Вечера на хуторе» Гоголя или дочерей последнего императора Николая II, ныне великомучениц.

Уже никогда не узнать, откуда просочились туманные флюиды декаданса в деревенский дом, где в туалет системы «очко» бегали на улицу, и где ещё при мне в обиходе на полных правах существовали вещи абсолютно архаичные: суковатая палка для сбивания масла, похожая на древнего корявого божка, ребристый деревянный валёк для глажки белья, да почерневшее долблёное корытце, в котором сечкой рубили грибы и капусту.

Меланхолические идиллии дяди Толи проросли во мне значительно позже, а тогда гораздо больше родственных чувств я испытывала к Карику и Вале, пережившим чудесные перевоплощения Алисы, только затем, чтобы стать естествоиспытателями. К тому же, моя мечта отправиться в «настоящую» экспедицию сбылась.

Не иначе, как феи-покровительницы, ухмыльнувшись, прислали *проводника* – новую учительницу географии, руководителя кружка «Юный геолог», богатыршу, солнце-колобок Надежду Петровну. Дети подобных людей обожают, безошибочно чувствуя «своих».

...

Не знаю, есть ли сейчас в школе такие учителя? Не важно чего – географии, биологии, литературы, которые умудрялись даже при наличии детей и мужей сохранить в себе что-то от суровой монашеской чистоты, а школе и

ученикам служили с рвением религиозного подвига. Мужчины около таких женщин не задерживались, и – как в случае Надежды Петровны – принимать участие в процессе *поднимания детей на ноги* не торопились (интересный, кстати, оборот – не растить, не воспитывать, а долго и мучительно «поднимать»). К слову у Н.П. детей было трое. И я их вольготной безотцовщине слегка завидовала, смутно фантазируя, что мой папа – такой же круглый сирота, как и Данила-мастер, однажды со смены не вернётся. Не потому, что умрёт, а потому, что Хозяйка Медной горы, или кто там у них её замещает, заберут его к себе на какое-то время, спрячут в горе, а мы поживём спокойно. Но покой получался пока только вдалеке от дома.

И моя первая геологическая экспедиция летом, после 9-го класса, стала настоящим праздником. В ней я не просто пережила апогей своей «каменной» любви, полнота счастья состояла ещё и в том, что для прохождения через «момент акмэ» мне выдали наперсницу-наставницу – Надежду Петровну.

С ней можно было говорить обо всём на свете. Так не поговоришь с мамой – потому что она мама, так не поговоришь со сверстниками, потому что они «не догоняют».

Моя бабка по отцу украшала своё логово пыльными цветами из пластмассы, будто выдернутыми из кладбищенских венков, у мамы росли розы с мелкими бутонами, которые постоянно одолевала тля, она ходила за ними, как за тяжелобольными (марля, марганцовка), а Н.П. поставила в хрустальную вазу привезённый «из полей» метровый чертополох. В победно – фиолетовом кивере и блеске несуществующих эполет, с готическими шипами – он был прекрасен и запомнился на всю жизнь.

Как на всю жизнь запомнились и наши разговоры на «маршрутах»: я пылко и косноязычно формулировала первые свои откровения, а мимо проплывали величественные сосны, цветущие луга, горные склоны. Совсем неподалёку начинался знаменитый Ильменский заповедник, сказы о

котором у Бажова получились совсем не интересными и фальшивыми насквозь, в отличие от этих удивительно-прекрасных мест, известных как Уральская Швейцария.

Искали мы тогда что-то совершенно уж фантастическое: кимберлитовые трубки. Так называют горные породы, которые образовались в жерлах древних вулканов, имеют форму огромной морковки и содержат алмазы. Наша задача состояла в том, чтобы собрать в указанных местах образцы минералов для исследования.

В памяти навсегда осталось общее и торжественное ощущение тамошнего ландшафта. Оно имеет почему-то архитектурную структуру гулкого пространства храма. Не стволы сосен в два обхвата, а колонны, перевитые по утрам лентами тумана, уходят в зеленый купол кроны, над ними другой – небесный, слепяще-яркий в то лето.

Фактуры веществ и принципы образов с лёгкостью переплетаются между собой. Рифмуются, звонко аукаясь, свиваются в «единый, умный узел». Одно вытекает из другого, *неодушевлённое оборачивается живым.*

«Берггрюн» – первый удар солнечных литавр – «горная зелень». Яркая зелёная краска с синеватым отливом – то, что я вижу вокруг себя – небо плюс сочная июльская зелень леса. «Берггрюн» по-другому «ярь-медянка», это слово уже раскрывается иначе, как шкатулка, и оттуда – врассыпную – прыскают ящерки Медной хозяйки – малахитницы, узоры камня, его глазки и «почки» копируют мох у ручьев. А оттенки зелёного и оттенки смыслов кругами расходятся, скользят свободно, устремляясь в направлении всё более широких горизонтов: например, породы, слагающие горный массив, здесь тоже с магической хитрецой –лиственит, повторяющий названием и рисунком весеннюю радость берёз и тёмно-зелёный змеевик или «серпентин», опять привет от Горной девы, мастерицы перевоплощений.

Праязык, знакомый авторам гримуаров и каббалистам, космологический алфавит – солнечный, лунный,

звёздный. Я его чувствовала, как зверёк, Надежда Петровна переводила. Пережив такое откровение, навсегда (или надолго) становятся язычниками, когда вместо ладана – благоухание ягод и июльской травы.

...

Какой скучной мне показалась обратная дорога из экспедиции домой. Особенно отрезок между Челябинском и Копейском, остановки: «Мясо», «Рыба», «Капазис», «Фантомас». По возвращении появилось ещё одно тревожное чувство: глядя на палатки и спальники, пропахшие костром, а главным образом на ящики с образцами пород и минералов, я испытала лёгкую ревность, связанную со странным разочарованием. Grimасы любви!

Свои коллекции я обустроивала по всем правилам, вычитанным в книжках. Каждому камушку полагалась этикетка и описание, для особо хрупких экземпляров предназначались гнёзда из ваты. Жили они все в коробках из-под конфет и обуви. Бережно хранимые, в тишине обласканные – только мои, штучные, лично ко мне «прыгнувшие» из земного праха.

А образцы в больших ящиках, выкорчеванные поточным способом и уже не разберёшь, кем именно, представлялись мне слишком «общими». Они что-то упрощали в моём понимании чудесности мира, здесь начиналась другая – *производственная* – история.

Гораздо милее были собранные в спичечный коробок кусочки жёлтой кристаллической серы на пляже около Николаева или хрупкие *мутанты с терриконов*. Прозрачные соли оседали прямо на шлаковой породе. «Лизни!» – смеялись ребята. Я как-то попробовала – аммиачным привкусом обожгло язык. Но про обиду я быстро забыла, как только заприметила выше по отвалу что-то из ряда вон выходящее – крупные чистые кристаллы примостились прямо на кусочке жёлтой глины, превратив его в фантастическую мохнатую астру.

Терриконики наравне с карьерами считались опасной страной из-за того, что постоянно тлели внутри. Здесь, двигаясь вперёд, дорогу следовало прощупывать палкой, чтобы не провалиться случайно в «ведьмин свищ». С моими «камушками» была неразрывно связана только мне приоткрывшаяся тайна и азарт личного поиска, ярко пережитый, приправленный опасностью. А привезённые из экспедиции «общественные» ящики, доверху забитые безмянными образцами, меня из процесса жизни как бы выключали. Единичное становилось массовым, заводил работу конвейер, бросались наутёк мои фей-хранительницы.

Детство таяло, и первым выветривался сопровождающий его привкус чуда. Любовь шла на убыль, но как принято у влюблённых, заметила я это далеко не сразу, продолжая движение по инерции. Мы с мамой стали студентками вузов в один год. Она поступила на заочный факультет экономического института в Челябинске, я – на дневное отделение геологоразведки в Свердловский Горный (конечно, в первую очередь меня привлекал его музей, доверху забитый настоящими сокровищами).

Хорошо помню день нашего расставания. До автобуса «Челябинск-Свердловск» оставалось время, чтобы заехать за мамой в институт, где у неё были какие-то дела в приёмной комиссии. Я так и потупила, а потом, стоя у вахтёрской «вертушки» на центральном входе, смотрела, как она торопится ко мне по коридору, чуть подскакивая из-за протеза, весёлая, возбужденная. И вдруг в первый раз я слишком ясно поняла, что теперь мама ничем не сможет мне помочь, что я всё должна решать и делать сама, оберегая её по мере сил от лишней информации.

...

Последний привет от фей-дарительниц, осчастлививших меня в детстве нелепой «каменной» страстью, я получила летом, после первого курса, когда уже забрала документы из Горного, интуитивно чувствуя, что моя тяга

к путешествиям и «красоте» мало имеет общего с призванием инженера.

На Таганае, куда мы отправились вдвоём с бойфрендом-однокурсником, я опять встретила породы, «приправленные» гранатами. Но уже не перцем мелких блестящих зёрнышек, как на озёрном острове детства, а непрозрачными октаэдрами с правильными, переливчатого муара, гранями. Похоже, в моей голове тогда веером стояла радуга – эйфория от первых в жизни сексуальных отношений – отроги Таганая запомнились сложенными из разноцветных пород – вся гамма оттенков между фиолетовым и оранжевым, вперемешку (был он или не был?) с блестящим авантюрином. На Таганае я впервые увидела «курумники» – «каменные реки», сбегаящие с вершины горного хребта. Узкие языки, состоящие из угловатых, не обкатанных глыб, могли простираться в длину на несколько километров. Перебираться через них было сущим наказанием, при неловком движении острые края царапали руки в кровь. Видимо, курумники «спящими», то есть неподвижными до конца, так и не становятся, и камни, слагающие их, находятся в постоянном движении, не заметном глазу.

Мы с приятелем разбили палатку на берегу ручья, и когда я, умываясь утром, увидела на дне вылущенные водой из материнской породы, шелковистые на отлив, непрозрачные гранаты, то улыбнулась им, как старым знакомым. Со мной все ещё *разговаривали, дарили подарки, неодушевлённое становилось живым*. Обратный процесс *отвердения и распада мира* только предстояло пережить.

...

Обратный отсчёт начался в 2007-м, когда одну за другой начали закрывать копейские шахты, признанные нерентабельными, и скоропостижно сгорел от рака дядя Гена, чей дом в переулке Клубном на ментальном уровне был для меня гораздо важнее родительского, и вовсе не из-за пресловутого достатка, а по общей разумной устроенности всего строя жизни. Оказалось, что каким-то образом

именно дядя Гена, как старший, всегда закрывал, насколько мог, самым фактом своего существования, и меня, и маму от сквозняков большого мира. А тут будто прорвало плотину.

После дяди Гены, с интервалом в полтора года умерли сначала мой отец, потом мой младший брат. Их всех, по очереди, провожали в одной церкви, перестроенной из просторного пятистенка, к ней вела дорога, мощёная местами розовым шлаком террикоников. Терриконики хорошо было видно и с нового, без единого деревца, участка кладбища, где мама показала мне могилу Анатолия Фёдоровича. Отсюда терриконики как никогда напоминали курганы, принадлежащие сгнувшей навсегда цивилизации. Круг замыкался: совсем неподалёку от кладбища стоял когда-то барак сосланного поднимать шахты деда Фёдора.

Тут я поняла, что мои мысли о смерти, а значит и о мироустройстве в целом, претерпели изменения. Ни за что не хотела бы я стать начинкой этой выпотрошенной земли. Простой и естественной связи между мной и миром, пусть хоть на уровне органической химии, я уже не чувствовала. Лучше крематорий и пепел, развеянный желателью над морем.

«Гиблое место, выпотрошенная земля», – повторяла я, и повторяла это всякий раз, когда приходилось проезжать мимо, по дороге к маме, в Копейск. Бурая болотная осока перемежалась зданиями брошенных шахтоуправлений, заржавленных копров, забытых вагонеток, невнятных хозяйственных построек, неизменной осталась разве что местная достопримечательность – тюрьма, где при Советах якобы сидел за «фарцу» крёстный отец телевизионного «Клуба весёлых и находчивых» – Александр Масляков. (Эту честь, правда, оспаривали еще несколько «зон» по стране, будто селенья древности, боровшиеся за то, чтобы считаться родиной Гомера).

По правую руку шёл железнодорожный тупик. Именно сюда отогнали как-то вагоны с загоревшимся бро-

мом. Всей стране сообщили, что отогнали за Челябинск, на «безопасное для людей расстояние», но отогнали сюда, и мама кашляла, когда ехала с работы, а сына моего покойного брата не повели в школу. Оранжевый дым стоял в полнеба.

Я думаю, здешняя Хозяйка, если она есть, была вполне довольна приношением. Как же ей не злиться, как не требовать жертв, если остыло, брошено её хозяйство, и огонь потух даже внутри терриконов, а шахты затопило водой? Говорят, надо ждать сюрпризов, и моя мама считает, что, в конце концов, могут начаться оползни, и домишки посёлков, стоящие слишком близко от заброшенных шахт, просто уйдут под землю.

Не ахти, какая была цивилизация, выросшая на небогатом угле бурого цвета – но ведь была. Даже хватило на два поколения фотоснимков в альбоме. Там и моё чёрно-белое детство, принесённое Хозяйке в жертву: заржавленные карусели Горсада, колесо обозрения, пущенное в девяностые «на металл», лавочки у Дворца Угольщиков....

«Угля сажей не замажешь, в трубе углём не запишешь».

...

Наверное, есть доля истины в утверждении, что человек постепенно становится похож на пейзаж, который его окружает. Между «видом из окна» и «индивидом» устанавливается странная связь.

После внезапной смерти брата, когда выяснилось, что он унаследовал «слабое сердце» деда Фёдора, я прошла электромагнитное обследование. К моим вискам, лодыжкам и запястьям прицепили медные бляшки-датчики, и врач, глядя на свой прибор, строго спросила, не живу ли я у метро. Я ответила, что до ближайшей станции минут двадцать.

«Но такие показатели прибора, – сказала она, – бывают у людей, которые долго находятся вблизи разломов земной поверхности».

Можно подозревать здесь шарлатанство, но не исключено, что таким прихотливым способом проявилась картина выпотрошенной земли, которая живёт во мне с детства.

В какой-то мере, мы все – карьерные мутанты, родившиеся случайно на отработанном шлаке, здесь и сейчас, из вещества и испарений окружающего нас пространства.

На поминках, раз за разом собиравших всю родню, я видела, как «оплотняются» люди, когда *«неживое» запускает в «живое» свои яды и щупальца*. Лица многих, сидящих за столом, я помнила с детства: двоюродные братья и сёстры, тётки, племянники... Несмотря на внешнее разнообразие типажей во всех сквозило что-то общее: так нехорошо похожи между собой толстяки или заключённые. Здесь знаменателем была осязаемая тяжесть, будто собравшиеся – отпрыски монументов советских времён, в чертах которых грубая лепка смяла нежное естество, и дурная страсть к обобщению победила деталь. Небрежная условность логотипа: вот тут должен находиться подбородок, тут – нос, а так намечены глаза – под тяжёлыми веками из гранита. Пласты грунта, смятые тектоническими сдвигами. *Случайно, без смысла и цели*.

Чужое племя, выращившее меня как свою. Что там перепутанные в роддоме младенцы, упомянутые в начале рассказа. Я чувствовала глобальную подмену, делающую меня чужой среди кровно своих.

Эге-гей, лукавые феи, посетившие однажды роддом № 5! Почему мне куда роднее мои вымышленные, сказочные страны? Гранёные шары на башнях Изумрудного города, похожие на боровики дома Страны коротышек, рядом с которыми колокольчики выглядят настоящими деревьями? Зачем вспыхнула и погасла во мне нелепая «каменная» страсть? Теперь «камушки» детских коллекций, отдельные из которых я до сих пор таскаю за собой, не более, чем сувениры, что-то вроде памятных фотографий.

...

Мама снова начала с чистого листа. Она продолжает работать. У брата осталось двое детей и жена без образования. Младшему внуку мама купила коллекцию минералов. Выпускают сейчас такие – в пластмассовых сувенирных коробках. Пирит, кварц, агат, лиственит, кусочек змеевика, лазурит, бордовая яшма, авантюрин и даже фиолетовый кристалл аметиста – племянник оказался совершенно равнодушен к этой мозаике моих воспоминаний. У него своя дорога: он мечтает стать президентом банка и зарабатывать много денег.

А мама, которая из всего выводка деда Фёдора осталась в живых одна, хотя мы и не говорим с ней об этом, всё чаще вспоминает кротость и терпение своей матери – бабушки Анны. У той было девять детей, выжило четверо. Не помню, чтобы бабушка Анна произносила имена умерших отпрысков со скорбью или хранила на виду их фотографии. К детям, а потом и к многочисленным внукам, они с дедом Фёдором, видимо, относились как к посеянному урожаю. Что взошло – за тем надо ухаживать, что не выжило – так тому и быть. Однако, каждый раз, когда в семейном полку случалось очередное пополнение, бабушка Анна аккуратно добавляла изображение новенького внука в фамильный «иконостас»: над их с дедом кроватью, вправо от скромной иконки, висели большие рамки, под стекло которых помещалось от 5 до 10 маленьких фотографий.

Рассказывала ли она мне сказки? Не помню. Зато мои рисунки, в основном бесконечные вариации двух волшебных мест – Изумрудного города и Страны Коротышек, вставляла на самое видное место – за часы с маятником в деревянном футляре. А сказки? Что сказки... Мы давно научились сочинять их себе самостоятельно. Как в насыщенный раствор, чтобы скорее получить кристалл, кидают затравку (песчинку или ниточку), так и наши истории были началом мифа или сказа, который уже никогда не родится.

Хорошо запомнилась одна побасёнка, которую я услышала как-то раз в очередном походе за «камушками»: где-то на краю посёлка Злоказово есть совсем удивительный терриконик. Что там Земля Санникова! Он огромный – настоящий вулкан. Мать-и-мачеха, верба и зелёная трава появляются кое-где в его ложбинах уже в марте, туда сбегаются зимовать зайцы, растут мохнатые фиолетовые подснежники, а шахтёры, когда едут мимо в автобусе на «Красную горнячку», часто видят лис и приветственно машут им в окно руками.

И именно там, недалеко от вершины, нашли однажды неизвестный до того в природе минерал красного цвета, о котором даже написала центральная московская газета, потому что камней этого колера в природе практически не бывает.